

**Сергей Николаевич Сергеев-
Ценский**

Лесная топь

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Лесная топь / Сергей Николаевич Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 50 с.

ISBN 978-5-4241-3347-3

Стиль Сергеева-Ценского отличает яркая образность; его описания природы, изображения характеров и батальные сцены богаты сравнениями и метафорами.

ISBN 978-5-4241-3347-3

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей
Лесная топь

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Лесная топь

Поэма

I

Когда зашло солнце, то вода в реке стала черной, как аспидная доска, камыши сделались жесткими, серыми и большими, и ближе пододвинул лес свои сучья, похожие на лохматые лапы.

Запахло прелью с близкой топи, протяжно и жалобно пискнуло в лесу, и потом долго стояло в ушах острое, как булавка.

А под ногами и около, в сухих листьях, зашуршало, зашевелилось и потянулось дальше, вдоль берега, что-то невидное и пугливое.

Потом как-то незаметно стало темно и узко, как на дне колодца.

Маленькие ребяташки, Филька и Антонина, брат и сестра, ловили раков.

Ловил собственно Филька, как старший. Он забрасывал колпачки на длинных бечевках и вытягивал их быстро-быстро, проводя между камышами. Антонина, серьезная, худенькая, ходила за ним с кошелкой и выдирала раков из сеток, как колочки из платья, неловко натыкалась пальцами на колючие клешни и вскрикивала.

- Чего орешь! Нежная, - ругал ее, как взрослый, Филька. Ему было десять лет, ей шел девятый.

К вечеру раки стали ловиться лучше, точно в черной воде им было привольнее и веселее, и они ползали по таинственному дну, сами таинственные и страшные.

И временами ребятам казалось, что они видят их на дне, медлительных и важных, видят, как они ползут и облепляют в колпачках наживу, жадные, как стая собак.

И не хотелось уходить, и было жутко одним.

На большую корягу, торчавшую из воды справа, ближе к середине реки, сел зимородок и долго сидел неподвижно и задумчиво. Потом вдруг пугливо свистнул и замелькал над водой.

Ударила на том берегу большая рыба, резко, точно пастушьим кнутом, и покатались маслянистые круги на этот берег.

- Сом! - тихо сказала Антонина.

- Ишь, не сом, а вовсе щука... Тебе все сом! Какая сомовая! - отозвался Филька, тоже тихо, и тут же громко кашлянул и сплюнул набок, как большой.

Лес на том берегу стал сплошной и густой и дымился от воды снизу, аверху вырвались из него кое-где угольно-черные косяки и молчали, вьвшись в небо.

Засновали летучие мыши. Были они совсем как птицы, только беззвучные и видные на один момент: неизвестно, откуда брались, и неизвестно, где пропадали.

- Зачем они? - спросила Антонина.

- Чего зачем? - обернулся Филька.

- Летают-то?..

Филька догадался, но счел нужным проворчать, как большой:

- Летают и все... То-оже, скажи, пожалуйста, не нравится ей, - зачем летают...

Что же, ты им сидеть прикажешь?

В один колпачок попало сразу четыре рака, три крупные, один мельче, мягкий,

с молодой скорлупой.

- Вот они как пошли! - ликовал Филька. - Теперь пойдут!.. Теперь, еще немного посидеть, они вон как пойдут!.. Самый лов начался.

Что-то тихо дышало на них сзади из-за толстых мшистых дубов, дышало ядовитой сыростью и густым запахом смерти от гниющих листьев.

Над рекой протянулись мосты из теней, и по ним на этот берег шло что-то оттуда, издали, из того леса, казавшегося еще более старым и огромным, чем этот, и, приходя сюда, шушукалось за их спинами.

Камыши вблизи стояли сухие и колочие, и неприятно было, как наискось, все острыми углами к воде, торчали их поджатые листья, точно лошадиные уши.

- Бу-у... бу-у... - завела где-то недалеко выпь.

- Что это? - спросила Антонина.

- Бучило, - ответил Филька.

- Пойдем домой, - несмело запросила Антонина.

- Ладно... Самый лов начался... поспеешь, - ответил Филька.

Он снял с головы картуз, почесался и надвинул его на глаза. Вынул колпачок, - опять четыре рака, и все большие, но когда забрасывал его снова в воду и он щелкнул по воде, захлебнувшись, показалось, что это утонул не колпачок с железным прутом, а кто-то живой.

Какие-то всхлипывающие звуки, влажные и робкие, приплыли издалека по воде, точно кто-то ехал там на лодке, а молодая осинка в стороне, узенькая и черная, стала совсем как человек, очень высокий и очень прямой: подошел к берегу и смотрит на воду.

- Вон глян-ка! - шепнула Антонина и показала на нее робко согнутым пальцем.

- Ветла, - сказал Филька тихо и тут же громко добавил: - Ветла, и боле ничего.

Все изменялось кругом, изменялось на глазах и незаметно, точно колдовство совершалось. Ходило кругом лесное и колдовало и развешивало занавески из речного тумана над тем, что было вдали, и перетаскивало эту даль сюда, как кошка котят, отчего здесь вблизи становилось густо, темно и душно.

Все шелестело и возилось что-то в лесу, точно огромные стаи галок или других таких же крикливых черных птиц садились там на ночлег на ветках и никак не могли усесться.

В кошелке шептались раки - шу-шу-шу-шу... Их было уже много. Филька досчитал до сотни, а потом перестал считать. То, что они шептались там на дне, было зловещим от темноты, как колочая угроза.

И грозились камыши, поворачивая пухлые головы, и черная коряга, на которой сидел зимородок, была насупленная и тоже грозилась.

Недалеко от нее плеснула рыба, и в сиянье кругов показалось, что коряга плыла, раскачавшись, рогатая, мокрая.

Прежде, когда было видно, хотелось есть, теперь было только страшно. Проползало что-то лесное мимо, глядело сквозь глаза в душу, и начинало холодеть под сердцем; думалось о теплом сеновале, ярком подсвечнике в церкви перед большой красной иконой, о широкой тяткиной бороде.

Или представлялся скрипучий воз, в него можно было лечь и ехать и закрыть глаза, чтобы не видеть ни реки, ни леса. Поднималась сырость откуда-то со дна

реки и из трещин земли, сырость душная и плотная, заползавшая прямо в горло, как печная сажа.

Свивалось и развивалось что-то, выползло из напыженных притаившихся кустов, капало большими мягкими каплями с висевших над головой закрученных шершавых веток; шуршало осторожно и тихо камышами то ближе, то дальше.

- Это что? - спросила Антонина.

Филька посмотрел на нее и на лес, подумал и ответил:

- Что, что? Тебе все - что это?.. Стой и молчи!..

Около самого берега в воде сломанные камышинки отчеканились хитрым переплетом, точно кто-то сплел из них сетку и придавил воду, но вода смотрела сквозь ячейки сетки прищуренными глазами и мигала ими, молчаливо, но было понятно.

И страшно было.

Страх ходил около и ткал паутину, загребистый, как паук.

Лазалось, что на босых ногах что-то налипает клейкое, чтобы приворожить к земле, и ноги заметно немели все выше, выше.

Налетела дикая утка, плеснула крыльями возле самых камышей - фпр, испуганно ударила в воздух грудью и пропала в темноте. Темнота расступилась было и вновь сомкнулась.

Заквакала вдруг лягушка раскатисто и звучно на целый лес, точно лошадь заржала, потом как-то сразу оборвала, и опять стало тихо.

Луна еще не всходила, но звезды уже прихлынули к земле и заткали небо частой сеткой любопытных глаз, отчего внизу стало еще душнее, точно колодец прикрыли крышкой с узкими дырочками для света; и сразу захотелось на свет.

- Пойдем домой, - тихо потянула Фильку за рукав Антонина.

Из-под платка на Фильку глядело странное, незнакомое теперь в полутьме маленькое лицо Антонины, и Антонина не узнала Филькина лица, только картуз был Филькин, выгнутый, как кошачья спина, на затылке.

Филька оглянулся. Лес кругом был близкий и темный, как высокие стены, и все что-то дрожало в нем, шевелилось, укладывалось и опять вставало. Где-то треснула сухая ветка. Стало холодно. Сдавило глотку.

- Сейчас пойдем, - сказал он чуть слышно.

Дико заблеял вдруг кто-то на дубу над головой... Ястреб? Сова?

Что-то острое режущей змейкой прошло вдоль спины, точно чей-то коготь. Антонина ухватилась за Филькину рубаху и не выпускала ее из рук. Филька нагнулся над водой вынуть колпачок, и нагнулась Антонина, и оба увидели вдруг, вздрогнув и застыв, как недалеко, в трех шагах от них, за камышами поднялась из воды зеленая тинистая человечья голова, старая, яркая, как сноп зеленых молний, фыркнула и поплыла к ним; потом рука взмахнула, тонкая, с длинными пальцами.

Вскрикнули и побежали оба... И это не они бежали там по изгибистой лесной тропинке, спотыкаясь на корни; они забыли, что это они, что они бегут, что впереди село; бежал, раздвоившись, безликий страх, а за ним гналась, хохотала тайна, и кричал лес, и падало, как гремучие железные листы, небо, и дыбилась и трескалась земля, и два вихря, один ледяной, другой из огненных искр, обвивались около и дули в щеки, а в глазах все стояла тинистая зеленая человечья голова, фыркающая, плывучая, и тянулись тонкие руки. Руки были впереди и с

боков, жесткие и липкие, обхватывали, отпускали, хватали вновь: это лес кидался на них со всех сторон и загораживал дорогу.

- Го-го-го-го! - кричало снизу из оврага...

- Го-го-го-го! - отзывалось вверх в темноте. Аукало зеленое... Качалось, плясало и падало, прямо перед глазами, быстрое, яркое, как звезды...

Рвануло за платье сзади, схватило за ноги... Охрипло горло от крика... И все голова, тинистая, страшная голова, продиралась сквозь камыши, фыркала и плыла ближе-ближе, вот схватит. И дышало так звучно искрами и льдом, ядовитым туманом и смертью от прелых листьев.

Они сидели в избе дрожащие, безъязыкие...

Бубнили что-то губы, точно с мороза, и плакали глаза.

Рыжий бородатый Кирик огромными руками держал перед ними маленький ночник, от которого ползли сонные, жмурые, красноватые лучи, а суетливая Маланья, его жена, их мать, обняла дрожащую голову Антонины и причитала:

- Баунька, баунька! Кто тебя испужал, маленькую? Кто испужал, лиходеи?.. Что молчишь, сидишь, горе мое? Скажи словечко!

Кирик бормотал сокрушенно: "Вот грех! Вот грех тяжкий!" Слова вязли в его волосатых губах, глухо звучали, как черепки. Изба была большая, рубленая, и бревна в стенах были тоже лес. На глазах Антонины бревна качались, становились торчком, полукругом, одни ближе, другие дальше, дальше, - вот и сучья тянулись как лапы, и гоготало зеленое, и росла из дальнего угла, где стояло ведро с водой, лохматая страшная голова, яркая на аспиде воды. И, пугаясь снова, Антонина вскрикивала: "Ой, мамка!" - и, вся посиневшая от плача, хваталась за материну плахту. Филька сидел, положив голову на стол, и дергался всем телом, как подстреленный, но с каждым разом все слабее, реже и тише.

Он начинал понимать, что он дома, что лесного нет, что оно там, на берегу, где остались колпачки и раки. И в то же время шумными порывами в голову его влетал лес и кружился там, влажно ревя ветвями.

Вставала жуткая голова, четко отделяясь от камышей. Тогда Филька закрывал глаза, и из них выдавливались и ползли по рукам слезы.

Древняя бабка Марья сползла с полатей. Сухая она была, скрюченная и вся тряслась, испуганная и разбитая долгой жизнью. Морщины шеи вливались в морщины груди, коричневые и прочные, похожие на дубленую кожу. Вся лесная была она, как мшистая дремучая липа, и пахло от нее корнями подземных глубин.

Кто испугал, она знала, и знала, что сделать. Она сновала по избе, деловитая, ворчливая, нашла восковую свечку, растопила на лучине, вылила в чашку с холодной водой.

Прихлынули смотреть, что вышло.

Воск застыл неровными круглыми бугорками, точно кустилась опушка, а в середине вытянулась угловатая капля. Тень от нее на стене вышла загадочной и живую.

- Ведьмедь, - решил простодушный Кирик.

- Ведьмедь где же... больше на волка сходственно, - поправила Маланья. Она знала, хитрая, что про медведей здесь давно не было слышно, а волки водились. Голова бабки тряслась, и крючило руки, но старые глаза были маленькие, и лучистые, и довольные, точно нашли белый гриб, далеко запрятанный под желты-

ми листьями.

- Вот они рожки, вишь, рожки, а вот борода козлиная. Стало быть, весь он, как есть, и вышел, воск - святое дело. Вишь, как явственно вышел...

И добавила пугливым шепотом:

- Шишига лесная!

Долго прыскали ребят крещенской водой, бормотала что-то заговорное бабка, носил обоих Кирик на огромных руках, и подсовывала им молоко с черным хлебом Маланья.

Успокоились и заснули поздно.

Улица была тихая и темная, только где-то далеко на околице выла высоким переливчатым голосом некрупная собака.

II

Филька оправился на другой же день и даже ходил с кучей ребят из села село называлось Миллюково - на то же место, на берег реки.

Ясный был день, лес смеялся, и смех был такой простодушный, зеленый, как у стариков после мирского дела, когда они сидят на завалинках, теплые от вина, и курят трубки, утапывая золу корявыми пальцами.

Звенели ребячьи голоса, и эхо бросало их далеко в чашу черемух и орешника.

Веселые были камыши на реке, и веселая была река в рамке отражений, но ни колпачков, ни кошелки с раками на том месте, где их бросил Филька, не было.

Это испугало ребят, и они не купались, хотя было жарко, и совсем ушли от реки в лес, а в лесу держались кучкой, рвали красную костянику, слушали, как служили обедню дубы, и пришли домой еще засветло и не тропинками через топь, где ближе, а по наезженной широкой дороге.

Антонина осталась порченной.

Она росла быстро, как растут здоровые дети, но тайна шла все время с нею рядом и не давала сомкнуть глаз. Тайна всходила раньше зеленой на свежевспаханых полях, когда глубокий чернозем лоснился и дымился, богатый силой; тайна вплеталась в душную стену конопляников, опоясавших село; садилась на толстые деревянные кресты кладбища; глядела из узких черных колодцев.

Антонина дичилась новых людей; не носила новых платьев; любила слушать, что говорят между собой старухи, и молиться в церкви. Товарики звали ее дурочкой и думали, что она пойдет в монастырь. Так думал и добродушный здоровяк Кирик, и Маланья, и сама Антонина.

Но однажды, на Троицу, когда церковь была вся зеленая от березок, когда кругом было так много красного бабьего кумачу, и цветов в волосах, и новых армяков, и сапог, густо смазанных дегтем, и кадильного дыму, Антонине стало вдруг душно, как тогда в лесу. Березки, обвивавшие иконостас, потемнели и стали огромными, и, как вековые стволы дубов, глянули на нее сбоку шестигранные колонны, а люди кругом стали, как мелкий лес. В запахе дегтя и дыма кадил, как в скорлупе, почувился знакомый запах гниющих листьев и топкого болота, а вышедший из алтаря в зеленой праздничной рясе старый миллюковский священник, о. Роман, закачался вдруг в глазах, присел и ринулся на нее с поднятыми руками, страшный и гогочущий, широкоглазый и алчный, как та голова.

Антонина упала с размаху, дико вскрикнула и билась на полу в тесном кругу

расступившихся ног, клокочущая, обнаженная.

Подняли и вынесли кликушу, и с тех пор Антонина боялась церкви.

Рослая она вышла к семнадцати годам и красивая, задумчивая и строгая.

Фильку уже женили и поставили ему избу рядом с отцовской избой. Такой же большой и прочный рабочий вол, как и Кирик, Филька стал обстоятельным мужиком, не спеша ступал тяжелыми сапогами, пил по праздникам водку и вздыхал по земле:

- Эх, земельки бы!

Двум крепким и простым, как обрезки пней, рукам тесно было на двух десятинах надела.

Земля всосалась в него в те жутко колдовские весенние дни, когда поднимают ярину для посева и когда, щедрая, она бросает в воздух свою силу в виде струистого синего пара, и в те пряные летние дни, когда цветут хлеба целомудренно-незаметными зелеными цветами. Тогда она вошла и на всю жизнь одни и те же замесила в нем густые и степенные, простые мысли, такие же простые, как комья чернозема.

И от жены его Марьи пахло той же землей, двумя десятинами черной земли, уставленной копнами и исполосованной ободьями колес.

Бабка Марья давно умерла, та, что знала лесные тайны, и не у кого было спросить: "Это зачем?", а молодая Марья не любила Антонины.

- Вот недотыкомка-девка, вот девка-шалаш... - говорила Фильке. - Ходит - слоны слоняет, а то сядет, глядит сущими глазами, как куля... Думает!.. И чего думает, и чего думает!.. Просто, право слово, правда истинная...

Качала головой и добавляла заговорщицким шепотом:

- Боязно мне от нее: ну, как зарежет ночью?

Лицо у нее было, как луна, безбровое и круглое.

Филька смеялся.

Антонина любила околицу, и тихие межи в поле, и шелест облаков, выползающих на широкое небо из-за лесных верхушек.

И любила смотреть в небо, так просто в самую синь, запрокинув назад голову.

Тогда небо казалось живым: кто-то плавал в нем темными и светлыми звездочками, легкими, как снежинки, много, часто, как густая сетка, над ближними дальние, над дальними еще и еще, и так все небо двигалось и колыхалось.

Антонина не знала, что это, и не знала, у кого спросить, и боялась спросить, чтобы не смеялись, но сама думала, что это ангелы.

А в то время еще так пахло ромашкой, огуречной травой и чабером, точно земля молилась.

III

Выдали замуж Антонину.

Взял ее милюковский же парень, Максим, сын сотского Дениса Кызи.

Венчались в сентябре. Когда шли к венцу, падал дождь, размокли белые девшвые цветочки в волосах, и незаметно плакала Антонина. Сзади хихикали девочки; впереди кружились ребяташки, белоголовые и голосистые, обращившись назад, толкались, делали удивленные лица и кричали: "Глянь-кась, порченая венчаться идет!" Выходило смешно почему-то. Церковь была темная, пустая и гулкая. Отец Роман долго не хотел венчать и ругал Кирика за то, что принес не

все деньги. У Максима было желтое скуластое лицо, жидкие волосы в кружок, плоский подбородок. Держался он несмело, исподлобья и ненужными руками поправлял красный кушак на новой пахучей поддевке.

Когда пили в избе Дениса, Антонине казалось, что это ее продали и пропивают.

Кирик с Денисом сидели обнявшись, были красны. Угощали друг друга водкой и кричали что-то, не слушая один другого. Плясали парни, дружки Максима, так, что отдавалось в голове, как под большим колоколом во время звона; пели бабы; кто-то не в такт песне дико взвизгивал; с улицы стучали в окна; просили водки и грозили выломать дверь.

- Цветики мои алье!.. - вспомнила что-то Антонина и потом все забыла.

- Бывает это с ней: в голову вступает; это ничего, - конфузливо объясняла Маланья.

Ее отнесли на кровать, а ночью под утро пришел к ней Максим, пьяный и потный, и до белого дня дышал на нее перегаром.

Днем же опять шел дождь, слезились маленькие окна и давил потолок...

Опять была полная изба народу, и пили водку...

В ноябре Максима взяли в солдаты, а Антонина впряглась в бабье дышло и повела хозяйство. Зимой прядла в две прялки со свекровью. Как нитка, тянулись длинные мысли и свивались в клубок, откуда им не было хода.

Мысли эти были - сугробы за окнами, жуть и холод по ночам, приставания Дениса в темной избе, Максимов ребенок под сердцем. Хотелось представить дорогу, и дорога выходила зимняя, холодная и белая и уходила с обеих сторон в почерневший от холода лес. А сжавшийся притихший лес казался еще более страшным, чем раскидистый и зеленый.

Лицо у свекрови было до времени изжитое, маленькое и сухое, как на старых иконах.

Кашляла в два приема по-бабьи, - ках-ках, - никогда не смеялась и говорила тихо скрипучими словами, точно пилила осину.

Семь ребячьих могил было у нее на милоковском кладбище.

Антонина глядела на ее тонкие руки, и что-то сжималось и сохло в ней, в самой середине.

От сугробов в избу через слепые окна вливались густые синие тени, расплзались по лавкам и глиняному полу и сплетались в колдовские узоры.

Все хотелось кого-то и о чем-то спросить, и некого было.

Летом, когда в избе тучами плавали и гудели мухи, Антонина родила девочку с огромным пятном в половину лица. Пятно было ярко-багровое, начиналось на лбу тремя наростами и спускалось, через левый глаз и всю щеку, на тонкую шею, точно звериная лапа сжала на лице когти и взрыла кожу кровавыми бороздами.

Когда ребенок плакал, он становился страшным, превращаясь в один уродливый красный ком.

Звериная лапа вырвала из него смех еще до рождения.

- Это что?.. Это зачем? - строго спрашивала у всех Антонина, когда, испуганная, устала плакать.

- Родимое пятнышко это, - говорили бабы. - Родимое, так и будет... Это ничего.

- Отчего это, бабоньки, отчего это?

- Кровь запекалась... С глазу это бывает, с черного. Черные глаза, они завиду-щие... Кабы знать, чей глаз, привесть бы, - снял бы, да где его узнать, чей? Терпи, ягодка. Это скорбь тебе дадена в наказание. Бог нацепит рог, и то носить надо.

Бабы все были степенные, и оттого то, что они говорили, казалось таким прочным, как ременные плети. Мало было слов у них для объяснений и жалоб, и потому широкие это были слова и много было вложено в них немного смысла.

Но Антонина боялась этих слов, боялась баб, и сухой свекрови, и матери Маланьи, и невестки Марьи.

Она кормила грудью жадного плакучего уroda и закрывала ему лицо, чтобы не глядеть. Только в высоком коноплянике на огороде, где никого не было видно за толстыми плотными стеблями и душистыми листьями, Антонина долго глядела на чмокающее багровое личико, прикрывала пятно рукою и шептала страстно и отчетливо:

- Уродина ты моя, несчастная! Уродина! А, ты уродина? Кому ты нужна будешь? Кто тебя любить будет?

Ребенок морщился, может быть, пробовал улыбнуться, но выходило так, как будто собирался плакать. Тогда Антонину охватывала жалость, похожая на злость; она тискала девочку, подбрасывала ее выше конопляника, и когда она начинала реветь раздрающе, ложилась и плакала вместе с ней.

Она стала подозрительной и ревнивой. Ей все казалось, что на всех перекрестках говорят о ней и об ее уroде.

Ребенок был крикливый, болезненный и по ночам не давал спать, а ночи по-дошли короткие и трудные: убирали хлеб.

Просыпаясь от его крика, Антонина ясно начинала ощущать, что он не нужен ни ей и никому теперь и не будет нужен после, что он ей противен, что он даже не ее, потому что она ждала не такого.

Спали в риге, так как в избе было душно. И, просыпаясь под крики ребенка, Антонина видела, как на широких воротах риги, подбеленных луной, мелькали уродливые лесные тени и смеялись.

Слышалось тяжелое сопенье спящей свекрови справа и тихо ползущий по земле крадущийся шепот Дениса:

- Максимка, разве он умеет?.. Сопляк! Куды ему?.. Эх, закатили бы такую девку - загляденье!..

Антонина еле видела его в темноте, но он представлялся ей ярко нескладный, всегда полупьяный, с мочалистой светлой бородой, с незакрытыми, видными насквозь, смеючимися глазами.

- Скажу! - угрожающе шептала она, подымаясь.

- Ну-ну-ну... лежи знай... Я ничего, ведь... так... - полз ей в ответ беспокойный шепот Дениса.

Отвернувшись, он начинал храпеть и засыпал и стонал во сне.

В проточном пруде за огородами, надсаживаясь, квакали лягушки, и жевала на дворе лошадь, фыркая длинными губами.

Антонина мерила пятно каждый день узкой каемкой рукава и все ошибалась; то ей казалось, что оно растет больше и спускается на правый глаз, то казалось, что оно сбегается к уху и светлеет.

На пятой неделе по маленькому тельцу пошли нарывы, большие и яркие и, должно быть, болезненные, потому что девочка кричала, почти не умолкая.